



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Правда, горькая правда.

Дантон

I

ГОРОДОК

Put thousands together-less bad,
But the cage less gay.

*Hobbes**

Городок Верьер, пожалуй, один из самых живописных во всем Франш-Конте. Белые домики с островерхими крышами красной черепицы раскинулись по склону холма, где купы мощных каштанов поднимаются из каждой лощинки. Ду бежит в нескольких сотнях шагов пониже городских укреплений; их когда-то выстроили испанцы, но теперь от них остались одни развалины.

* Соберите вместе тысячи людей — оно как будто не плохо. Но в клетке им будет не весело. *Гоббс (англ.)*.

С севера Верьер защищает высокая гора — это один из отрогов Юры. Расколотые вершины Верра укрываются снегами с первых же октябрьских заморозков. С горы несется поток; прежде чем впасть в Ду, он пробегает через Верьер и на своем пути приводит в движение множество лесопилок. Эта нехитрая промышленность приносит известный достаток большинству жителей, которые скорее похожи на крестьян, нежели на горожан. Однако не лесопилки обогатили этот городок; производство набивных тканей, так называемых мюлузских набоек, — вот что явилось источником всеобщего благосостояния, которое после падения Наполеона позволило обновить фасады почти что у всех домов в Верьере.

Едва только вы входите в город, как вас оглушает грохот какой-то тяжело ухающей и страшной на вид машины. Двадцать тяжелых молотов обрушиваются с гулом, сотрясающим мостовую; их поднимает колесо, которое приводится в движение горным потоком. Каждый из этих молотов изготавливает ежедневно уж не скажу сколько тысяч гвоздей. Цветущие, хорошенькие девушки занимаются тем, что подставляют под удары этих огромных молотов кусочки железа, которые тут же превращаются в гвозди. Это производство, столь грубое на вид, — одна из тех вещей, которые больше всего поражают путешественника, впервые очутившегося в горах, отделяющих Францию от Гельвеции. Если же попавший в Верьер путешественник любопытствует, чья это прекрасная гвоздильная фабрика, которая оглушает прохожих, идущих по Большой улице, ему ответят протяжным говорком: «А-а, фабрика-то — господина мэра».

И если путешественник хоть на несколько минут задержится на Большой улице Верьера, что тянется от берега Ду до самой вершины холма, — верных сто шансов против одного, что он непременно повстречает высокого человека с важным и озабоченным лицом.

Стоит ему показаться, все шляпы поспешно приподнимаются. Волосы у него с проседью, одет он во все серое. Он

кавалер нескольких орденов, у него высокий лоб, орлиный нос, и в общем лицо его не лишено известной правильности черт, и на первый взгляд даже может показаться, что в нем вместе с достоинством провинциального мэра сочетается некоторая приятность, которая иногда еще бывает присуща людям в сорок восемь — пятьдесят лет. Однако очень скоро путешествующий парижанин будет неприятно поражен выражением самодовольства и заносчивости, в которой сквозит какая-то ограниченность, скудость воображения. Чувствуется, что все таланты этого человека сводятся к тому, чтобы заставлять платить себе всякого, кто ему должен, с величайшей аккуратностью, а самому с уплатой своих долгов тянуть как можно дольше.

Таков мэр Верьера, г-н де Реналь. Перейдя улицу важной поступью, он входит в мэрию и исчезает из глаз путешественника. Но если путешественник будет продолжать свою прогулку, то, пройдя еще сотню шагов, он заметит довольно красивый дом, а за чугунной решеткой, окружающей владение, — великолепный сад. За ним, вырисовывая линию горизонта, тянутся бургундские холмы, и кажется, словно все это задумано нарочно, чтобы радовать взор. Этот вид может заставить путешественника забыть о той зачумленной мелким барышничеством атмосфере, в которой он уже начинает задыхаться.

Ему объяснят, что дом этот принадлежит г-ну де Реналю. Это на доходы от большой гвоздильной фабрики построил верьерский мэр свой прекрасный особняк из тесаного камня, а сейчас он его отделявает. Говорят, предки его — испанцы, из старинного рода, который будто бы обосновался в этих краях еще задолго до завоевания их Людовиком XIV.

С 1815 года господин мэр стыдится того, что он фабрикант: 1815 год сделал его мэром города Верьера. Массивные уступы стен, поддерживающих обширные площадки великолепного парка, спускающегося террасами до самого

Ду, — это тоже заслуженная награда, доставшаяся г-ну де Реналю за его глубокие познания в скобяном деле.

Во Франции нечего надеяться увидеть такие живописные сады, как те, что опоясывают промышленные города Германии — Лейпциг, Франкфурт, Нюрнберг и прочие. Во Франш-Конте чем больше нагорожено стен, чем больше щетинятся ваши владения камнями, нагроможденными один на другой, тем больше вы приобретаете прав на уважение соседей. А сады г-на де Реналья, где сплошь стена на стене, еще потому вызывают такое восхищение, что кой-какие небольшие участки, отошедшие к ним, господин мэр приобретал прямо-таки на вес золота. Вот, например, и та лесопилка на самом берегу Ду, которая вас так поразила при въезде в Верьер, и вы еще обратили внимание на имя «Сорель», выведенное гигантскими буквами на доске через всю крышу, — она шесть лет назад находилась на том самом месте, где сейчас г-н де Реналь возводит стену четвертой террасы своих садов.

Как ни горд господин мэр, а пришлось ему долгонько обхаживать да уговаривать старика Сореля, мужика упрямого, крутого; и пришлось ему выложить чистоганом немалую толику звонких золотых, чтобы убедить того перенести свою лесопилку на другое место. А что касается до общественного ручья, который заставлял ходить пилу, то г-н де Реналь благодаря своим связям в Париже добился того, что его отвели в другое русло. Этот знак благоволения он снискал после выборов 1821 года.

Он дал Сорелю четыре арпана за один, в пятистах шагах ниже по берегу Ду, и, хотя это новое местоположение было много выгоднее для производства еловых досок, папаша Сорель — так стали звать его с тех пор, как он разбогател, — ухитрился выжать из нетерпения и мании собственника, обуявших его соседа, кругленькую сумму в шесть тысяч франков.

Правда, местные умники злословили по поводу этой сделки. Как-то раз, в воскресенье, это было года четыре тому

назад, г-н де Реналь в полном облачении мэра возвращался из церкви и увидел издалека старика Сореля: тот стоял со своими тремя сыновьями и ухмылялся, глядя на него. Эта усмешка пролила роковой свет в душу г-на мэра — с тех пор его гложет мысль, что он мог бы совершить обмен намного дешевле.

Чтобы заслужить общественное уважение в Верьере, очень важно, громоздя как можно больше стен, не прельститься при этом какой-нибудь выдумкой этих итальянских каменщиков, которые пробираются весной через ущелья Юры, направляясь в Париж. Подобное новшество снискало бы неосторожному строителю на веки вечные репутацию сумасброда, и он бы навсегда погиб во мнении благоумных и умеренных людей, которые как раз и ведают распределением общественного уважения во Франш-Конте.

По совести сказать, эти умники проявляют совершенно несносный деспотизм, и вот это-то гнусное словцо и делает жизнь в маленьких городках невыносимой для всякого, кто жил в великой республике, именуемой Парижем. Тирания общественного мнения — и какого мнения! — так же глупа в маленьких городах Франции, как и в Американских Соединенных Штатах.

II

ГОСПОДИН МЭР

Престиж! Как, сударь, вы думаете, это пустяки? Почет от дураков, глазающая в изумлении детвора, зависть богачей, презрение мудреца.

Барнав

К счастью для г-на де Реналья и его репутации правителя города, городской бульвар, расположенный на склоне холма, на высоте сотни футов над Ду, понадобилось обнести громадной подпорной стеной. Отсюда благодаря на редкость

удачному местоположению открывается один из самых живописных видов Франции. Но каждую весну бульвар размывало дождями, дорожки превращались в сплошные рытвины, и он становился совершенно непригодным для прогулок. Это неудобство, ощущаемое всеми, поставило г-на де Реналю в счастливую необходимость увековечить свое правление сооружением каменной стены в двадцать футов вышины и тридцать — сорок туазов длины.

Парапет этой стены, ради которой г-ну де Реналю пришлось трижды совершить путешествие в Париж, ибо последний министр внутренних дел объявил себя смертельным врагом верьерского бульвара, — парапет этот ныне возвышается примерно на четыре фута над землей. И словно бросая вызов всем министрам, бывшим и нынешним, его сейчас украшают гранитными плитами.

Сколько раз, погруженный в воспоминания о балах недавно покинутого Парижа, опершись грудью на эти громадные каменные плиты прекрасного серого цвета, чуть отливающего голубизной, я блуждал взором по долине Ду. Вдали, на левом берегу, выются пять-шесть лощин, в глубине которых глаз отчетливо различает струящиеся ручьи. Они бегут вниз, там и сям срываются водопадами и, наконец, низвергаются в Ду. Солнце в наших горах печет жарко, а когда оно стоит прямо над головой, путешественник, замечтавшийся на этой террасе, защищен тенью великолепных платанов. Благодаря наносной земле они растут быстро, и их роскошная зелень отливает синевой, ибо господин мэр распорядился навалить землю вдоль всей своей громадной подпорной стены; несмотря на сопротивление муниципального совета, он расширил бульвар примерно на шесть футов (за что я его хвалю, хоть он и ультрароялист, а я либерал), и вот почему сия терраса, по его мнению, а также по мнению г-на Вально, благоденствующего директора верьерского дома призрения, ничуть не уступает Сен-Жерменской террасе в Лэ.

Что до меня, то я могу посетовать только на один недостаток Аллеи Верности — официальное это название можно прочесть в пятнадцати или двадцати местах на мраморных досках, за которые г-на де Реналь пожаловали еще одним крестом, — на мой взгляд, недостаток Аллеи Верности — это варварски изуродованные могучие платаны: их по приказанию начальства стригут и карнают немилосердно. Вместо того чтобы уподобляться своими круглыми, приплюснутыми кронами самым невзрачным огородным овощам, они могли бы свободно приобрести те великолепные формы, которые видишь у их собратьев в Англии. Но воля господина мэра нерушима, и дважды в год все деревья, принадлежащие общине, подвергаются безжалостной ампутации. Местные либералы поговаривают, — впрочем, это, конечно, преувеличение, — будто рука городского садовника сделалась значительно более суровой с тех пор, как господин викарий Маллон завел обычай присваивать себе плоды этой стрижки.

Сей юный священнослужитель был прислан из Безансона несколько лет тому назад для наблюдения за аббатом Шеланом и еще несколькими кюре в окрестностях. Старый полковой лекарь, участник итальянской кампании, удалившийся на покой в Верьер и бывший при жизни, по словам мэра, сразу и якобинцем, и бонапартистом, как-то раз осмелился попенять мэру на это систематическое уродование прекрасных деревьев.

— Я люблю тень, — отвечал г-н де Реналь с тем оттенком высокомерия в голосе, какой допустим при разговоре с полковым лекарем, кавалером ордена Почетного легиона, — я люблю тень и велю подстригать мои деревья, чтобы они давали тень. И я не знаю, на что еще годятся деревья, если они не могут, как, например, полезный орех, *приносить доход*.

Вот оно, великое слово, которое все решает в Верьере: приносить доход; к этому, и только к этому сводятся неизменно мысли более чем трех четвертей всего населения.

Приносить доход — вот довод, который управляет всем в этом городке, показавшемся вам столь красивым. Чужестранец, очутившийся здесь, плененный красотой прохладных, глубоких долин, опоясывающих городок, воображает сперва, что здешние обитатели весьма восприимчивы к красоте; они без конца твердят о красоте своего края; нельзя отрицать, что они очень ценят ее, ибо она-то и привлекает чужестранцев, чьи деньги обогащают содержателей гостиниц, а это, в свою очередь, в силу действующих законов о городских пошлинах приносит доход городу.

Однажды в погожий осенний день г-н де Реналь прогуливался по Аллее Верности под руку со своей супругой. Слушая рассуждения своего мужа, который разглагольствовал с важным видом, г-жа де Реналь следила беспокойным взором за движениями трех мальчиков. Старший, которому можно было дать лет одиннадцать, то и дело подбегал к парапету с явным намерением взобраться на него. Нежный голос произносил тогда имя Адольфа, и мальчик тут же отказывался от своей смелой затеи. Г-же де Реналь на вид можно было дать лет тридцать, но она была еще очень мило видна.

— Как бы ему потом не пришлось пожалеть, этому выскочке из Парижа, — говорил г-н де Реналь оскорбленным тоном, и его обычно бледные щеки казались еще бледнее. — У меня найдутся друзья при дворе...

Но хоть я и собираюсь на протяжении двухсот страниц рассказывать вам о провинции, все же я не такой варвар, чтобы изводить вас длиннотами и *мудреными обиняками* провинциального разговора.

Этот выскочка из Парижа, столь ненавистный мэру, был не кто иной, как г-н Аппер, который два дня тому назад ухитрился проникнуть не только в тюрьму и в верьерский дом призрения, но также и в больницу, находящуюся на безвозмездном попечении господина мэра и самых видных домовладельцев города.

— Но, — робко отвечала г-жа де Реналь, — что может вам сделать этот господин из Парижа, если вы распоряжаетесь имуществом бедных с такой щепетильной добросовестностью?

— Он и приехал сюда только затем, чтобы охаять нас, а потом пойдет тискать статейки в либеральных газетах.

— Да ведь вы же никогда их не читаете, друг мой.

— Но нам постоянно твердят об этих якобинских статьях; все это нас отвлекает и *мешает нам делать добро*. Нет, что касается меня, я никогда не прошу этого нашему кюре.

III

ИМУЩЕСТВО БЕДНЫХ

Добродетельный кюре, чуждый всяких происков, поистине благодать божья для деревни.

Флери

Надобно сказать, что верьерский кюре, восьмидесятилетний старец, который благодаря живительному воздуху здешних гор сохранил железное здоровье и железный характер, пользовался правом в любое время посещать тюрьму, больницу и даже дом призрения. Так вот г-н Аппер, которого в Париже снабдили рекомендательным письмом к кюре, имел благоразумие прибыть в этот маленький любознательный городок ровно в шесть часов утра и незамедлительно явился к священнослужителю на дом.

Читая письмо, написанное ему маркизом де Ла-Молем, пэром Франции и самым богатым землевладельцем всей округи, кюре Шелан призадумался.

«Я — старик, и меня любят здесь, — промолвил он наконец вполголоса, разговаривая сам с собой, — они не посмеют». И тут же, обернувшись к приезжему парижанину, сказал, подняв глаза, в которых, несмотря на его преклонный

возраст, сверкал священный огонь, свидетельствовавший о том, что ему доставляет радость совершить благородный, хоть и несколько рискованный поступок:

— Идемте со мной, сударь, но я попрошу вас не говорить в присутствии тюремного сторожа, а особенно в присутствии надзирателей дома призрения, решительно ничего о том, что мы с вами увидим.

Господин Аппер понял, что имеет дело с мужественным человеком; он пошел с почтенным священником, посетил с ним тюрьму, больницу, дом призрения, задавал немало вопросов, но, невзирая на странные ответы, не позволил себе высказать ни малейшего осуждения.

Осмотр этот продолжался несколько часов. Священник пригласил г-на Аппера пообедать с ним, но тот отговорился тем, что ему надо написать массу писем: ему не хотелось еще больше компрометировать своего великодушного спутника. Около трех часов они отправились заканчивать осмотр дома призрения, а затем вернулись в тюрьму. В дверях их встретил сторож — кривоногий гигант саженного роста; его и без того гнусная физиономия сделалась совершенно отвратительной от страха.

— Ах, сударь, — сказал он, едва только увидел кюре, — вот этот господин, что с вами пришел, уж не господин ли Аппер?

— Ну так что же? — сказал кюре.

— А то, что я вчера получил насчет них точный приказ — господин префект прислал его с жандармом, которому пришлось скакать всю ночь, — ни в коем случае не допускать господина Аппера в тюрьму.

— Могу сказать вам, господин Нуару, — сказал кюре, — что этот приезжий, который пришел со мной, действительно господин Аппер. Вам должно быть известно, что я имею право входить в тюрьму в любой час дня и ночи и могу привести с собой кого мне угодно.

— Так-то оно так, господин кюре, — отвечал сторож, понизив голос и опустив голову, словно бульдог, которого

заставляют слушаться, показывая ему палку. — Только, господин кюре, у меня жена, дети, а коли на меня жалоба будет да я места лишусь, чем жить тогда? Ведь меня только служба и кормит.

— Мне тоже было бы очень жаль лишиться прихода, — отвечал честный кюре прерывающимся от волнения голосом.

— Эка сравнили! — живо откликнулся сторож. — У вас, господин кюре, — это все знают — восемьсот ливров ренты да кусочек землицы собственной.

Вот какие происшествия, преувеличенные, переиначенные на двадцать ладов, разжигали последние два дня всяческие злобные страсти в маленьком городке Верьере. Они же сейчас были предметом маленькой размолвки между г-ном де Реналем и его супругой. Утром г-н де Реналь вместе с г-ном Вально, директором дома призрения, явился к кюре, чтобы выразить ему свое живейшее неудовольствие. У г-на Шелана не было никаких покровителей; он почувствовал, какими последствиями грозит ему этот разговор.

— Ну что ж, господа, по-видимому, я буду третьим священником, которому в восьмидесятилетнем возрасте откажут от места в этих краях. Я здесь уже пятьдесят шесть лет; я крестил почти всех жителей этого города, который был всего-навсего поселком, когда я сюда приехал. Я каждый день венчаю молодых людей, как когда-то венчал их дедов. Верьер — моя семья, но страх покинуть его не может заставить меня ни вступить в сделку с совестью, ни руководствоваться в моих поступках чем-либо, кроме нее. Когда я увидел этого приезжего, я сказал себе. «Может быть, этот парижанин и вправду либерал — их теперь много развелось, — но что он может сделать дурного нашим беднякам или узникам?»

Однако упреки г-на де Реналья, а в особенности г-на Вально, директора дома призрения, становились все более обидными.

— Ну что ж, господа, отнимите у меня приход! — воскликнул старик-кюре дрожащим голосом. — Я все равно

не покину этих мест. Все знают, что сорок восемь лет тому назад я получил в наследство маленький участок земли, который приносит мне восемьсот ливров; на это я и буду жить. Я ведь, господа, никаких побочных сбережений на своей службе не делаю, и, может быть, потому-то я и не пугаюсь, когда мне грозят, что меня уволят.

Господин де Реналь жил со своей супругой очень дружно, но, не зная, что ответить на ее вопрос, когда она робко повторила: «А что же дурного может сделать этот парижанин нашим узником?» — он уже готов был вспылить, как вдруг она вскрикнула. Ее второй сын вскочил на парапет и побежал по нему, хотя стена эта возвышалась более чем на двадцать футов над виноградником, который тянулся по другую ее сторону. Боясь, как бы ребенок, испугавшись, не упал, г-жа де Реналь не решалась его окликнуть. Наконец мальчик, который весь сиял от своего удачества, оглянулся на мать и, увидев, что она побледнела, соскочил с парапета и подбежал к ней. Его как следует отчитали.

Это маленькое происшествие заставило супругов перевести разговор на другой предмет.

— Я все-таки решил взять к себе этого Сореля, сына лесопильщика, — сказал г-н де Реналь. — Он будет присматривать за детьми, а то они стали что-то уж слишком резвы. Это молодой богослов, почти что священник; он превосходно знает латынь и сумеет заставить их учиться; кюре говорит, что у него твердый характер. Я дам ему триста франков жалованья и стол. У меня были некоторые сомнения насчет его добронравия, — ведь он был любимчиком этого старика-лекаря, кавалера ордена Почетного легиона, который, воспользовавшись предложением, будто он какой-то родственник Сореля, явился к ним да так и остался жить на их хлебах. А ведь очень возможно, что этот человек был, в сущности, тайным агентом либералов; он уверял, будто наш горный воздух помогает ему от астмы, но ведь кто его знает? Он с *Буонапартом* проделал все итальянские кампании,

и говорят, даже когда голосовали за империю, написал «нет». Этот либерал обучал сына Сореля и оставил ему множество книг, которые привез с собой. Конечно, мне бы и в голову не пришло взять к детям сына плотника, но как раз накануне этой истории, из-за которой я теперь навсегда поссорился с кюре, он говорил мне, что сын Сореля вот уже три года как изучает богословие и собирается поступить в семинарию, — значит, он не либерал, а, кроме того, он латинист.

— Но тут есть и еще некоторые соображения, — продолжал г-н де Реналь, поглядывая на свою супругу с видом дипломата. — Господин Вально страх как гордится, что приобрел пару прекрасных нормандок для своего выезда. А вот гувернера у его детей нет.

— Он еще может у нас его перехватить.

— Значит, ты одобряешь мой проект, — подхватил г-н де Реналь, отблагодарив улыбкой свою супругу за прекрасную мысль, которую она только что высказала. — Так, значит, решено.

— Ах, боже мой, милый друг, как у тебя все скоро решается.

— Потому что я человек с характером, да и наш кюре теперь в этом убедится. Нечего себя обманывать — мы здесь со всех сторон окружены либералами. Все эти мануфактурщики мне завидуют, я в этом уверен; двое-трое из них уже пробрались в толстосумы. Ну так вот, пусть они посмотрят, как дети господина де Реналья идут на прогулку под наблюдением своего гувернера. Это им внушит кое-что. Дед мой частенько нам говорил, что у него в детстве всегда был гувернер. Это обойдется мне примерно в сотню экю, но при нашем положении этот расход необходим для поддержания престижа.

Это внезапное решение заставило г-жу де Реналь задуматься. Г-жа де Реналь, высокая, статная женщина, слыла когда-то, как говорится, первой красавицей на всю округу. В ее облике, в манере держаться было что-то просто-душное и юное. Эта наивная грация, полная невинности и живости, могла бы, пожалуй, пленить парижанина какой-то скрытой пылкостью. Но если бы г-жа де Реналь узнала, что

она может произвести впечатление подобного рода, она бы сгорела со стыда. Сердце ее было чуждо всякого кокетства или притворства. Поговаривали, что г-н Вально, богач, директор дома призрения, ухаживал за ней, но без малейшего успеха, что снискало громкую славу ее добродетели, ибо г-н Вально, рослый мужчина в цвете лет, могучего телосложения, с румяной физиономией и пышными черными бакенбардами, принадлежал именно к тому сорту грубых, дерзких и шумливых людей, которых в провинции называют «красавец мужчина». Г-жа де Реналь, существо очень робкое, обладала, по-видимому, крайне неровным характером, и ее чрезвычайно раздражали постоянная суетливость и оглушительные раскаты голоса г-на Вально. А так как она уклонялась от всего того, что зовется в Верьере весельем, о ней стали говорить, что она слишком чванится своим происхождением. У нее этого и в мыслях не было, но она была очень довольна, когда жители городка стали бывать у нее реже. Не будем скрывать, что в глазах местных дам она слыла дурочкой, ибо не умела вести никакой политики по отношению к своему мужу и упускала самые удобные случаи заставить его купить для нее нарядную шляпку в Париже или Безансоне. Только бы ей никто не мешал бродить по ее чудесному саду — больше она ни о чем не просила.

Это была простая душа: у нее никогда даже не могло возникнуть никаких притязаний судить о своем муже или признаться самой себе, что ей с ним скучно. Она считала, — никогда, впрочем, не задумываясь над этим, — что между мужем и женой никаких других, более нежных отношений и быть не может. Она больше всего любила г-на де Реналья, когда он рассказывал ей о своих проектах относительно детей, из которых он одного прочил в военные, другого в чиновники, а третьего в служители церкви. В общем, она находила г-на де Реналья гораздо менее скучным, чем всех прочих мужчин, которые у них бывали.

Это было разумное мнение супруги. Мэр Верьера обязан был своей репутацией остроумного человека, а в особенности человека хорошего тона, полдюжине шуток, доставшихся ему по наследству от дядюшки. Старый капитан де Реналь до революции служил в пехотном полку его светлости герцога Орлеанского и, когда бывал в Париже, пользовался привилегией посещать наследного принца в его доме. Там довелось ему увидеть г-жу де Монтессон, знаменитую г-жу де Жанлис, г-на Дюкре, палерояльского изобретателя. Все эти персонажи постоянно фигурировали в анекдотах г-на де Реналья. Но мало-помалу искусство облекать в приличную форму столь щекотливые и ныне забытые подробности стало для него трудным делом, и с некоторых пор он только в особо торжественных случаях прибегал к анекдотам из жизни герцога Орлеанского. Так как, помимо всего прочего, он был человек весьма учтивый, исключая, разумеется, те случаи, когда речь шла о деньгах, то он и считался по справедливости самым большим аристократом в Верьере.

IV

ОТЕЦ И СЫН

E sarà mia colpa, se così è?

*Machiavelli**

«Нет, жена моя действительно умница, — говорил себе на другой день в шесть часов утра верьерский мэр, спускаясь к лесопилке папаши Сореля. — Хоть я и сам поднял об этом разговор, чтобы сохранить, как оно и надлежит, свое превосходство, но мне и в голову не приходило, что

* И моя ли то вина, если это действительно так? *Макиавелли (итал.)*.

если я не возьму этого аббатика Сореля, который, говорят, знает латынь, как ангел господень, то директор дома призрения — вот уж поистине неугомонная душа — может не хуже меня возыметь ту же самую мысль и перехватить его у меня. А уж каким самодовольным тоном стал бы он говорить о гувернере своих детей... Ну, а если я заполучу этого гувернера, в чем же он у меня будет ходить, в сутане?»

Господин де Реналь пребывал на этот счет в глубокой нерешительности, но тут он увидел издалека высокого, чуть ли не в сажень ростом крестьянина, который трудился с раннего утра, меряя громадные бревна, сложенные по берегу Ду, на самой дороге к рынку. Крестьянин, по-видимому, был не очень доволен, увидя приближающегося мэра, так как громадные бревна загромождали дорогу, а лежать им в этом месте не полагалось.

Папаша Сорель — ибо это был не кто иной, как он, — чрезвычайно удивился, а еще более обрадовался необыкновенному предложению, с которым г-н де Реналь обратился к нему относительно его сына Жюльена. Однако он выслушал его с видом мрачного недовольства и полнейшего равнодушия, которым так искусно прикрывается хитрость уроженцев здешних гор. Рабы во времена испанского ига, они еще до сих пор не утратили этой черты египетского феллаха.

Папаша Сорель ответил сперва длинной приветственной фразой, состоящей из набора всевозможных почтительных выражений, которые он знал наизусть. В то время как он бормотал эти бессмысленные слова, выдавив на губах кривую усмешку, которая еще больше подчеркивала коварное и слегка плутовское выражение его физиономии, деловитый ум старого крестьянина старался доискаться, чего это ради такому важному человеку могло прийти в голову взять к себе его дармоеда-сына. Он был очень недоволен Жюльеном, а вот за него-то как раз г-н де Реналь неожиданно-негаданно предлагал ему триста франков в год со столом и даже с одеждой. Это последнее условие, которое сразу

догадался выдвинуть папаша Сорель, тоже было принято г-ном де Реналем.

Мэр был потрясен этим требованием. «Если Сорель не чувствует себя благодетельствованным и, по-видимому, не в таком уж восторге от моего предложения, как, казалось бы, следовало ожидать, значит, совершенно ясно, — говорил он себе, — что к нему уже обращались с таким предложением; а кто же еще мог это сделать, кроме Вально?» Тщетно г-н де Реналь добивался от Сореля последнего слова, чтобы тут же покончить с делом; лукавство старого крестьянина делало его упрямым: ему надобно, говорил он, потолковать с сыном; да слыханное ли это дело в провинции, чтобы богатый отец советовался с сыном, у которого ни гроша за душой? Разве уж просто так, для вида.

Водяная лесопилка представляет собой сарай, построенный на берегу ручья. Крыша его опирается на стропила, которые держатся на четырех толстых столбах. На высоте восьми или десяти футов посреди сарая ходит вверх и вниз пила, а к ней при помощи очень несложного механизма подвигается бревно. Ручей вертит колесо, и оно приводит в движение весь этот двойной механизм: тот, что поднимает и опускает пилу, и тот, что тихонько подвигает бревна к пиле, которая распиливает их, превращая в доски.

Подходя к своей мастерской, папаша Сорель зычным голосом кликнул Жюльена — никто не отозвался. Он увидел только своих старших сыновей, настоящих исполинов, которые, взмахивая тяжелыми топорами, обтесывали еловые стволы, готовя их для распилки. Стараясь тесать ровень с черной отметиной, проведенной по стволу, они каждым ударом топора отделяли огромные щепы. Они не слышали, как кричал отец. Он подошел к сараю, но, войдя туда, не нашел Жюльена на том месте возле пилы, где ему следовало быть. Он обнаружил его не сразу, пятью-шестью футами повыше. Жюльен сидел верхом на стропилах и, вместо того чтобы внимательно наблюдать за ходом

пилы, читал книжку. Ничего более ненавистного для старика Сореля быть не могло; он бы, пожалуй, даже простил Жюльену его щуплое сложение, мало пригодное для физической работы и столь не похожее на рослые фигуры старших сыновей, но эта страсть к чтению была ему отвратительна: сам он читать не умел.

Он окликнул Жюльена два или три раза без всякого успеха. Внимание юноши было целиком поглощено книгой, и это, пожалуй, гораздо больше, чем шум пилы, помешало ему услышать громовой голос отца. Тогда старик, несмотря на свои годы, проворно вскочил на бревно, лежавшее под пилой, а оттуда на поперечную балку, поддерживавшую кровлю. Мощный удар вышиб книгу из рук Жюльена, и она упала в ручей; второй такой же сильный удар обрушился Жюльену на голову — он потерял равновесие и полетел бы с высоты двенадцати — пятнадцати футов под самые рычаги машины, которые размололи бы его на куски, если бы отец не поймал его левой рукой на лету.

— Ах, дармоед, так вот ты и будешь читать свои окаянные книжонки, вместо того чтобы за пилой смотреть? Вечером можешь читать, когда пойдешь к кюре небо коптить, — там и читай сколько влезет.

Оглушенный ударом и весь в крови, Жюльен все-таки пошел на указанное место около пилы. Слезы навернулись у него на глаза — не столько от боли, сколько от огорчения из-за погибшей книжки, которую он страстно любил.

— Спускайся, скотина, мне надо с тобой потолковать.

Грохот машины опять помешал Жюльену расслышать отцовский приказ. А отец, уже стоявший внизу, не желая утруждать себя и снова карабкаться наверх, схватил длинную жердь, которой сшибали орехи, и ударил ею сына по плечу. Едва Жюльен соскочил наземь, как старик Сорель хлопнул его по спине и, грубо подталкивая, погнал к дому. «Бог знает, что он теперь со мной сделает», — думал юноша. И украдкой он горестно поглядел на ручей,

куда упала его книга, — это была его самая любимая книга: «Мемориал Святой Елены».

Щеки у него пылали; он шел, не поднимая глаз. Это был невысокий юноша лет восемнадцати или девятнадцати, довольно хрупкий на вид, с неправильными, но тонкими чертами лица и точеным, с горбинкой носом. Большие черные глаза, которые в минуты спокойствия сверкали мыслью и огнем, сейчас горели самой лютой ненавистью. Темно-каштановые волосы росли так низко, что почти закрывали лоб, и от этого, когда он сердился, лицо казалось очень злым. Среди бесчисленных разновидностей человеческих лиц вряд ли можно найти еще одно такое лицо, которое отличалось бы столь поразительным своеобразием. Стройный и гибкий стан юноши говорил скорее о ловкости, чем о силе. С самых ранних лет его необыкновенно задумчивый вид и чрезвычайная бледность наводили отца на мысль, что сын его не жилец на белом свете, а если и выживет, то будет только обузой для семьи. Все домашние презирали его, и он ненавидел своих братьев и отца; в воскресных играх на городской площади он неизменно оказывался в числе побитых.

Однако за последний год его красивое лицо стало привлекать сочувственное внимание кое-кого из юных девиц. Все относились к нему с презрением, как к слабому существу, и Жюльен привязался всем сердцем к старику полковому лекарю, который однажды осмелился высказать свое мнение господину мэру относительно платанов.

Этот отставной лекарь откупал иногда Жюльена у папаша Сореля на целый день и обучал его латыни и истории, то есть тому, что сам знал из истории, а это были итальянские походы 1796 года. Умирая, он завещал мальчику свой крест Почетного легиона, остатки маленькой пенсии и тридцать — сорок томов книг, из коих самая драгоценная только что нырнула в *городской ручей*, изменивший свое русло благодаря связям г-на мэра.

Едва переступив порог дома, Жюльен почувствовал на своем плече могучую руку отца; он задрожал, ожидая, что на него вот-вот посыплются удары.

— Отвечай мне да не смей врать! — закричал ему в самое ухо грубый крестьянский голос, и мощная рука повернула его кругом, как детская ручонка поворачивает оловянного солдата. Большие, черные, полные слез глаза Жюльена встретились с пронизывающими серыми глазами старого плотника, которые словно старались заглянуть ему в самую душу.

V

СДЕЛКА

Cunctando restituit rem.

*Ennius**

— Отвечай мне, проклятый книгочий, да не смей врать, хоть ты без этого и не можешь, откуда ты знаешь госпожу де Реналь? Когда это ты успел с ней разговориться?

— Я никогда с ней не разговаривал, — ответил Жюльен. — Если я когда и видел эту даму, так только в церкви.

— Так, значит, ты на нее глазел, дерзкая тварь?

— Никогда. Вы знаете, что в церкви я никого, кроме Бога, не вижу, — добавил Жюльен, прикидываясь святошей в надежде на то, что это спасет его от побоев.

— Нет, тут что-то да есть, — промолвил хитрый старик и на минуту умолк. — Но из тебя разве что выудишь, подлый ты ханжа? Ну, как бы там ни было, а я от тебя избавлюсь, и моей пиле это только на пользу пойдет. Как-то уж ты сумел обойти господина кюре или кого там другого, что они тебе отхлопотали недурное местечко. Поди собери свой

* Медлительностью спас положение. *Энний (лат.)*.

скарб, и я тебя отведу к господину де Реналю. Ты у него воспитателем будешь, при детях.

— А что я за это буду получать?

— Стол, одежду и триста франков жалованья.

— Я не хочу быть лакеем.

— Скотина! А кто тебе говорит про лакея? Да я-то что ж, хочу, что ли, чтоб у меня сын в лакеях был?

— А с кем я буду есть?

Этот вопрос озадачил старика Сореля: он почувствовал, что, если он будет продолжать разговор, это может довести до беды; он накинулся на Жюльена с бранью, попрекая его обжорством, и наконец оставил его и пошел посоветоваться со старшими сыновьями.

Спустя некоторое время Жюльен увидел, как они стояли все вместе, опершись на топоры, и держали семейный совет. Он долго смотрел на них, но, убедившись, что ему все равно не догадаться, о чем идет речь, обошел лесопилку и пристроился по ту сторону пилы, чтобы его не захватили врасплох. Ему хотелось подумать на свободе об этой неожиданной новости, которая должна была перевернуть всю его судьбу, но он чувствовал себя сейчас не способным ни на какую рассудительность, воображение его то и дело уносилось к тому, что ожидало его в чудесном доме г-на де Реналья.

«Нет, лучше отказаться от всего этого, — говорил он себе, — чем допустить, чтобы меня посадили за один стол с прислугой. Отец, конечно, постарается принудить меня силой; нет, лучше умереть. У меня накоплено пятнадцать франков и восемь су; сбегу сегодня же ночью, и через два дня, коли идти напрямик, через горы, где ни одного жандарма и в помине нет, я попаду в Безансон; там запишусь в солдаты, а не то так и в Швейцарию сбегу. Но только тогда уж ничего впереди, никогда уж не добиться мне звания священника, которое открывает дорогу ко всему».

Этот страх оказаться за одним столом с прислугой во все не был свойствен натуре Жюльена. Чтобы пробить себе

дорогу, он пошел бы и не на такие испытания. Он почерпнул это отвращение непосредственно из «Исповеди» Руссо. Это была единственная книга, при помощи которой его воображение рисовало ему свет. Собрание реляций великой армии и «Мемориал Святой Елены» — вот три книги, в которых заключался его Коран. Он готов был на смерть пойти за эти три книжки. Никаким другим книгам он не верил. Со слов старого полкового лекаря он считал, что все остальные книги на свете — сплошное вранье, и написаны они пройдохами, которым хотелось выслужиться.

Одаренный пламенной душой, Жюльен обладал еще изумительной памятью, которая нередко бывает и у дураков. Чтобы завоевать сердце старого аббата Шелана, от которого, как он ясно видел, зависело все его будущее, он выучил наизусть по-латыни весь Новый Завет; он выучил таким же образом и книгу «О папе» де Местра, одинаково не веря ни той ни другой.

Словно по обоюдному согласию, Сорель и его сын не заговаривали больше друг с другом в течение этого дня. К вечеру Жюльен отправился к кюре на урок богословия; однако он решил не поступать опрометчиво и ничего не сказал ему о том необыкновенном предложении, которое сделали его отцу. «А вдруг это какая-нибудь ловушка? — говорил он себе. — Лучше сделать вид, что я просто забыл об этом».

На другой день рано утром г-н де Реналь послал за стариком Сорелем, и тот, заставив подождать себя часок-другой, наконец явился и, еще не переступив порога, стал отвешивать поклоны и рассыпаться в извинениях. После долгих выпрашиваний обиняками Сорель убедился, что его сын будет обедать с хозяином и с хозяйкой, а в те дни, когда у них будут гости, — в отдельной комнате с детьми. Видя, что господину мэру прямо-таки не терпится заполучить к себе его сына, изумленный и преисполненный недоверия Сорель становился все более и более придирчивым и, наконец, потребовал, чтобы ему показали комнату,

где будет спать его сын. Это оказалась большая, очень прилично обставленная комната, и как раз при них туда уже перетаскивали кровати троих детей.

Это обстоятельство словно что-то прояснило для старого крестьянина; он тотчас же с уверенностью потребовал, чтобы ему показали одежду, которую получит его сын. Г-н де Реналь открыл бюро и вынул сто франков.

— Вот деньги: пусть ваш сын сходит к господину Дюрану, суконщику, и закажет себе черную пару.

— А коли я его от вас заберу, — сказал крестьянин, вдруг позабыв все свои почтительные ужимки, — эта одежда ему останется?

— Конечно.

— Ну, так, — медленно протянул Сорель. — Теперь, значит, нам остается столковаться только об одном: сколько жалованья вы ему положите.

— То есть как? — воскликнул г-н де Реналь. — Мы же покончили с этим еще вчера: я даю ему триста франков; думаю, что этого вполне достаточно, а может быть, даже и многовато.

— Вы так предлагали, я с этим не спорю, — еще более медленно промолвил старик Сорель и вдруг с какой-то гениальной прозорливостью, которая может удивить только того, кто не знает наших франшконтейских крестьян, добавил, пристально глядя на г-на де Реналья: — *В другом месте мы найдем и получше.*

При этих словах лицо мэра перекошилось. Но он тотчас же овладел собой, и, наконец, после весьма мудреного разговора, который занял добрых два часа и где ни одного слова не было сказано зря, крестьянская хитрость взяла верх над хитростью богача, который ведь не кормится ею. Все многочисленные пункты, которыми определялось новое существование Жюльена, были твердо установлены; жалованье его не только было повышено до четырехсот франков в год; но его должны были уплачивать вперед первого числа каждого месяца.

— Ладно. Я дам ему тридцать пять франков, — сказал г-н де Реналь.

— Для круглого счета такой богатый и щедрый человек, как господин наш мэр, — угодливо подхватил старик, — уж не поскупится дать и тридцать шесть франков.

— Хорошо, — сказал г-н де Реналь, — но на этом и кончим.

Гнев, охвативший его, придавал на сей раз его голосу нужную твердость. Сорель понял, что нажимать больше нельзя. И тут уже перешел в наступление г-н де Реналь. Он ни в коем случае не соглашался отдать эти тридцать шесть франков за первый месяц старику Сорелю, которому очень хотелось получить их за сына. У г-на де Реналья между тем мелькнула мысль, что ведь ему придется рассказать жене, какую роль он вынужден был играть в этой сделке.

— Верните мне мои сто франков, которые я вам дал, — сказал он с раздражением. — Господин Дюран мне кое-что должен. Я сам пойду с вашим сыном и возьму ему сукна на костюм.

После этого резкого выпада Сорель почел благоразумным рассыпаться в заверениях почтительности; на это ушло добрых четверть часа. В конце концов, видя, что больше уж ему ничего не выжать, он, кланяясь, пошел к выходу. Последний его поклон сопровождался словами:

— Я пришлю сына в замок.

Так горожане, опекаемые г-ном мэром, называли его дом, когда хотели угодить ему.

Вернувшись к себе на лесопилку, Сорель, как ни старался, не мог найти сына. Полный всяческих опасений и не зная, что из всего этого получится, Жюльен ночью ушел из дому. Он решил спрятать в надежное место свои книги и свой крест Почетного легиона. Он отнес все это к своему приятелю Фуке, молодому лесоторговцу, который жил высоко в горах, возвышавшихся над Верьером.

Едва только он появился: «Ах ты, проклятый лентяй! — заорал на него отец. — Хватит ли у тебя совести перед Богом заплатить мне хоть за кормежку, на которую я для тебя

тратился столько лет? Забирай свои лохмотья и марш к господину мэру».

Жюльен, удивляясь, что его не поколотили, поторопился уйти. Но, едва скрывшись с глаз отца, он замедлил шаг. Он решил, что ему следует подкрепиться в своем ханжестве и для этого неплохо было бы зайти в церковь.

Вас удивляет это словцо? Но прежде чем он дошел до этого ужасного слова, душе юного крестьянина пришлось проделать немалый путь.

С самого раннего детства, после того как он однажды увидел драгун из шестого полка в длинных белых плащах, с черногривыми касками на головах, — драгуны эти возвращались из Италии, и лошади их стояли у коновязи перед решетчатым окошком его отца, — Жюльен бредил военной службой. Потом, уже подростком, он слушал, замирая от восторга, рассказы старого полкового лекаря о битвах на мосту Лоди, Аркольском, под Риволи и замечал пламенные взгляды, которые бросал старик на свой крест.

Но когда Жюльену было четырнадцать лет, в Верьере начали строить церковь, которую для такого маленького городишка можно было назвать великолепной. У нее были четыре мраморные колонны, которые поразили Жюльена; о них потом разнеслась слава по всему краю, ибо они-то и посеяли смертельную вражду между мировым судьей и молодым священником, присланным из Безансона и считавшимся шпионом иезуитского общества. Мировой судья из-за этого чуть было не лишился места, так, по крайней мере, утверждали все. Ведь пришло же ему в голову завести ссору с этим священником, который каждые две недели отправлялся в Безансон, где он, говорят, имел дело с самим его высокопреосвященством, епископом.

Между тем мировой судья, человек многосемейный, вынес несколько приговоров, которые показались несправедливыми: все они были направлены против тех из жителей городка, кто почитывал «Конститюсьонель». Победа

осталась за благомыслящими. Дело шло, в сущности, о грошовой сумме, что-то около трех или пяти франков, но одним из тех, кому пришлось уплатить этот небольшой штраф, был гвоздарь, крестный Жюльена. Вне себя от ярости этот человек поднял страшный крик: «Вишь, как оно все перевернулось-то! И подумать только, что вот уже лет двадцать с лишним мирового судью все считали честным человеком!» А полковой лекарь, друг Жюльена, к этому времени уже умер.

Внезапно Жюльен перестал говорить о Наполеоне: он заявил, что собирается стать священником; на лесопилке его постоянно видели с латинской Библией в руках, которую ему дал кюре; он заучивал ее наизусть. Добрый старик, изумленный его успехами, проводил с ним целые вечера, наставляя его в богословии. Жюльен не позволял себе обнаруживать перед ним никаких иных чувств, кроме благочестия. Кто бы мог подумать, что это юное девическое личико, такое бледненькое и кроткое, таило непоколебимую решимость вытерпеть, если понадобится, любую пытку, лишь бы пробить себе дорогу!

Пробить дорогу для Жюльена прежде всего означало вырваться из Верьера; родину свою он ненавидел. Все, что он видел здесь, леденило его воображение.

С самого раннего детства с ним не раз случалось, что его вдруг мгновенно охватывало страстное воодушевление. Он погружался в восторженные мечты о том, как его будут представлять парижским красавицам, как он сумеет привлечь их внимание каким-нибудь необычайным поступком. Почему одной из них не полюбить его? Ведь Бонапарта, когда он был еще беден, полюбила же блестящая госпожа де Богарнэ! В продолжение многих лет не было, кажется, в жизни Жюльена ни одного часа, когда бы он не повторял себе, что Бонапарт, безвестный и бедный поручик, сделался владыкой мира с помощью своей шпаги. Эта мысль утешала его в его несчастьях, которые ему казались ужасными, и удваивала его радость, когда ему случалось чему-нибудь радоваться.

Постройка церкви и приговоры мирового судьи внезапно открыли ему глаза; ему пришла в голову одна мысль, с которой он носился как одержимый в течение нескольких недель, и, наконец, она завладела им целиком с той непреодолимой силой, какую обретает над пламенной душой первая мысль, которая кажется ей ее собственным открытием.

«Когда Бонапарт заставил говорить о себе, Франция трепетала в страхе перед иноплеменным нашествием; военная доблесть в то время была необходима, и она была в моде. А теперь священник в сорок лет получает жалованья сто тысяч франков, то есть ровно в три раза больше, чем самые знаменитые генералы Наполеона. Им нужны люди, которые помогали бы им в их работе. Вот, скажем, наш мировой судья: такая светлая голова, такой честный был до сих пор старик, и от страха, что он может навлечь на себя неудовольствие молодого тридцатилетнего викария, он покрывает себя бесчестьем! Надо стать попом».

Однажды, в разгаре этого своего новообретенного благочестия, когда он уже два года изучал богословие, Жюльен вдруг выдал себя внезапной вспышкой того огня, который пожирал его душу. Это случилось у г-на Шелана; на одном обеде, в кругу священников, которым добряк кюре представил его как истинное чудо премудрости, он вдруг с жаром стал превозносить Наполеона. Чтобы наказать себя, он привязал к груди правую руку, притворившись, будто вывихнул ее, поворачивая еловое бревно, и носил ее привязанной в этом неудобном положении ровно два месяца. После этой кары, которую он сам себе изобрел, он простил себя. Вот каков был этот восемнадцатилетний юноша, такой хрупкий на вид, что ему от силы можно было дать семнадцать лет, который теперь с маленьким узелком под мышкой входил под своды великолепной верьерской церкви.

Там было темно и пусто. По случаю праздника все переплетки окон были затянуты темно-красной материей, благодаря чему солнечные лучи приобретали какой-то ослепительный

оттенков, величественный и в то же время благолепный. Жюльена охватил трепет. Он был один в церкви. Он уселся на скамью, которая показалась ему самой красивой: на ней был герб г-на де Реналья.

На скамеечке для коленопреклонения Жюльен заметил обрывок печатной бумаги, который словно был нарочно положен так, чтобы его прочли. Жюльен поднес его к глазам и увидал:

«Подробности казни и последних минут жизни Луи Жан-реля, казненного в Безансоне сего...»

Бумажка была разорвана. На другой стороне уцелели только два первых слова одной строчки, а именно: «Первый шаг...»

— Кто же положил сюда эту бумажку? — сказал Жюльен. — Ах, несчастный! — добавил он со вздохом. — А фамилия его кончается так же, как и моя... — И он скомкал бумажку.

Когда Жюльен выходил, ему показалось, что на земле около кропильницы кровь — это была разбрызганная святая вода, которую отсвет красных занавесей делал похожей на кровь.

Наконец, Жюльену стало стыдно своего тайного страха.

«Неужели я такой трус? — сказал он себе. — К оружию!»

Этот призыв, так часто повторявшийся в рассказах старого лекаря, казался Жюльену героическим. Он повернулся и быстро зашагал к дому г-на де Реналья.

Однако, несмотря на всю свою великолепную решимость, едва только он увидал в двадцати шагах перед собой этот дом, как его охватила непобедимая робость. Чугунная решетчатая калитка была открыта; она показалась ему верхом великолепия. Надо было войти в нее.

Но не только у Жюльена сжималось сердце оттого, что он вступал в этот дом. Г-жа де Реналь при ее чрезвычайной застенчивости была совершенно подавлена мыслью о том, что какой-то чужой человек, в силу своих обязанностей, всегда будет теперь стоять между нею и детьми. Она привыкла к тому, что ее сыновья спят около нее, в ее комнате. Утром она пролила немало слез, когда у нее на глазах

перетаскивали их маленькие кровати в комнату, которая была предназначена для гувернера. Тщетно упрашивала она мужа, чтобы он разрешил перенести обратно к ней хотя бы только кровать самого младшего, Станислава-Ксавье.

Свойственная женщинам острота чувств у г-жи де Реналь доходила до крайности. Она уже рисовала себе отвратительного, грубого, взлохмаченного субъекта, которому разрешается орать на ее детей только потому, что он знает латынь. И за этот варварский язык он еще будет пороть ее сыновей.

VI

НЕПРИЯТНОСТЬ

Non so più cosa son,
Cosa faccio.

*Mozart (Figaro)**

Госпожа де Реналь с живостью и грацией, которые были так свойственны ей, когда она не опасалась, что на нее кто-то смотрит, выходила из гостиной через стеклянную дверь в сад, и в эту минуту взгляд ее упал на стоявшего у подъезда молодого крестьянского паренька, совсем еще мальчика, с очень бледным и заплаканным лицом. Он был в чистой белой рубаше и держал под мышкой очень опрятную курточку из лилового ратина.

Лицо у этого юноши было такое белое, а глаза такие кроткие, что слегка романтическому воображению г-жи де Реналь представилось сперва, что это, быть может, молоденькая переодетая девушка, которая пришла просить

* Не пойму, что творится со мною. *Моцарт («Свадьба Фигаро»)* (итал.).

о чем-нибудь господина мэра. Ей стало жалко бедняжку, которая стояла у подъезда и, по-видимому, не решалась протянуть руку к звонку. Г-жа де Реналь направилась к ней, забыв на минуту о том огорчении, которое причиняла ей мысль о гувернере. Жюльен стоял лицом к входной двери и не видел, как она подошла. Он вздрогнул, услышав над самым своим ухом ласковый голос:

— Что вы хотите, дитя мое?

Жюльен быстро обернулся и, потрясенный этим полным участия взглядом, забыл на миг о своем смущении; он смотрел на нее, изумленный ее красотой, и вдруг забыл все на свете, забыл даже, зачем он пришел сюда. Г-жа де Реналь повторила свой вопрос.

— Я пришел сюда потому, что я должен здесь быть воспитателем, сударыня, — наконец вымолвил он, весь вспыхнув от стыда за свои слезы и стараясь незаметно вытереть их.

Госпожа де Реналь от удивления не могла выговорить ни слова; они стояли совсем рядом и глядели друг на друга. Жюльену еще никогда в жизни не приходилось видеть такого нарядного существа, а еще удивительнее было то, что эта женщина с белоснежным лицом говорила с ним таким ласковым голосом. Г-жа де Реналь смотрела на крупные слезы, катившиеся по этим сначала ужасно бледным, а теперь вдруг ярко зардевшимся щекам крестьянского мальчика. И вдруг она расхохоталась безудержно и весело, совсем как девчонка. Она покатывалась со смеху над самой собой и просто опомниться не могла от счастья. Как! Так вот он каков, этот гувернер! А она-то представляла себе грязного неряху-попа, который будет орать на ее детей и сечь их розгами.

— Как, сударь, — промолвила она наконец, — вы знаете латынь?

Это обращение «сударь» так удивило Жюльена, что он даже на минуту опешил.

— Да, сударыня, — робко ответил он.

Госпожа де Реналь была в таком восторге, что решилась сказать Жюльену:

— А вы не будете очень бранить моих мальчиков?

— Я? Бранить? — переспросил удивленный Жюльен. — А почему?

— Нет, право же, сударь, — добавила она после маленькой паузы, и в голосе ее звучало все больше и больше волнения, — вы будете добры к ним, вы мне это обещаете?

Услышать еще раз, что его совершенно всерьез величает «сударь» такая нарядная дама, — это поистине превосходило все ожидания Жюльена; какие бы воздушные замки он ни строил себе в детстве, он всегда был уверен, что ни одна знатная дама не удостоит его разговором, пока на нем не будет красоваться роскошный военный мундир. А г-жа де Реналь, со своей стороны, была введена в полнейшее заблуждение нежным цветом лица, большими черными глазами Жюльена и его красивыми кудрями, которые на этот раз вились еще больше обычного, потому что он по дороге, чтобы освежиться, окунул голову в бассейн городского фонтана. И вдруг, к ее неописуемой радости, это воплощение девичьей застенчивости и оказалось тем страшным гувернером, которого она, содрогаясь за своих детей, рисовала себе грубым чудовищем! Для такой безмятежной души, какою была г-жа де Реналь, столь внезапный переход от того, чего она так боялась, к тому, что она теперь увидела, был целым событием. Наконец она пришла в себя. Она с удивлением обнаружила, что стоит у подъезда своего дома с этим молодым человеком в простой рубахе, и совсем рядом с ним.

— Идемте, сударь, — сказала она несколько смущенным тоном.

Еще ни разу в жизни г-же де Реналь не случалось испытывать такого сильного волнения, вызванного столь исключительно приятным чувством, никогда еще не бывало с ней, чтобы мучительное беспокойство и страхи сменялись вдруг такой чудесной явью. Значит, ее хорошенькие мальчики, которых

она так лелеяла, не попадут в руки грязного, сварливого попа! Когда она вошла в переднюю, она обернулась к Жюльену, который робко шагал позади. На лице его при виде такого роскошного дома изобразилось глубокое изумление, и от этого он показался еще милее г-же де Реналь. Она никак не могла поверить себе, и главным образом потому, что всегда представляла себе гувернера не иначе, как в черном костюме.

— Но неужели это правда, сударь? — промолвила она снова, останавливаясь и замирая от страха. (А что, если это вдруг окажется ошибкой, — а она-то так радовалась, поведав этому!) — Вы в самом деле знаете латынь?

Эти слова задели гордость Жюльена и вывели его из того сладостного забытья, в котором он пребывал вот уже целые четверть часа.

— Да, сударыня, — ответил он, стараясь принять как можно более холодный вид. — Я знаю латынь не хуже, чем господин кюре, а иногда он по своей доброте даже говорит, что я знаю лучше его.

Госпоже де Реналь показалось теперь, что у Жюльена очень злое лицо, — он стоял в двух шагах от нее. Она подошла к нему и сказала вполголоса:

— Правда, ведь вы не станете в первые же дни сечь моих детей, даже если они и не будут знать уроков?

Ласковый, почти умоляющий тон этой прекрасной дамы так подействовал на Жюльена, что все его намерения подержать свою репутацию латиниста мигом улетучились. Лицо г-жи де Реналь было так близко, у самого его лица, он вдыхал аромат летнего женского платья, а это было нечто столь необычайное для бедного крестьянина, что Жюльен покраснел до корней волос и пролепетал едва слышным голосом:

— Не бойтесь ничего, сударыня, я во всем буду вас слушаться.

И вот только тут, в ту минуту, когда весь ее страх за детей окончательно рассеялся, г-жа де Реналь с изумлением заметила, что Жюльен необыкновенно красив. Его тонкие,

почти женственные черты, его смущенный вид не казались смешными этой женщине, которая и сама отличалась крайней застенчивостью; напротив, мужественный вид, который обычно считают необходимым качеством мужской красоты, только испугал бы ее.

— Сколько вам лет, сударь? — спросила она Жюльена.

— Скоро будет девятнадцать.

— Моему старшему одиннадцать, — продолжала г-жа де Реналь, теперь уже совершенно успокоившись. — Он вам почти товарищ будет, вы его всегда сможете уговорить. Раз как-то отец вздумал прибить его — ребенок потом был болен целую неделю, а отец его только чуть-чуть ударил.

«А я? — подумал Жюльен. — Какая разница! Вчера еще отец отколотил меня. Какие они счастливые, эти богачи!»

Госпожа де Реналь уже старалась угадать малейшие оттенки того, что происходило в душе юного гувернера, и это мелькнувшее на его лице выражение грусти она сочла за робость. Ей захотелось подбодрить его.

— Как вас зовут, сударь? — спросила она таким подкупающим тоном и с такой приветливостью, что Жюльен весь невольно проникся ее очарованием, даже не отдавая себе в этом отчета.

— Меня зовут Жюльен Сорель, сударыня; мне страшно потому, что я первый раз в жизни вступаю в чужой дом; я нуждаюсь в вашем покровительстве и еще, чтобы вы прощали мне очень многое на первых порах. Я никогда не ходил в школу, я был слишком беден для этого; и я ни с кем никогда не говорил, исключая моего родственника, полкового лекаря, кавалера ордена Почетного легиона, и нашего кюре, господина Шелана. Он скажет вам всю правду обо мне. Мои братья вечно колотили меня; не верьте им, если они будут вам на меня наговаривать; простите меня, если я в чем ошибусь; никакого дурного умысла у меня быть не может.

Жюльен мало-помалу преодолевал свое смущение, произнося эту длинную речь; он, не отрываясь, смотрел

на г-жу де Реналь. Таково действие истинного обаяния, когда оно является природным даром, а в особенности когда существо, обладающее этим даром, не подозревает о нем. Жюльен, считавший себя знатоком по части женской красоты, готов был поклясться сейчас, что ей никак не больше двадцати лет. И вдруг ему пришла в голову дерзкая мысль — поцеловать у нее руку. Он тут же испугался этой мысли, но в следующее же мгновение сказал себе: «Это будет трусость с моей стороны, если я не совершу того, что может принести мне пользу и сбить немножко презрительное высокомерие, с каким, должно быть, относится эта прекрасная дама к бедному мастеровому, только что оставившему пилу». Быть может, Жюльен расхрабрился еще и потому, что ему пришло на память выражение «хорошенький мальчик», которое он вот уже полгода слышал по воскресеньям от молодых девиц. Между тем, пока он боролся так сам с собой, г-жа де Реналь старалась объяснить ему в нескольких словах, каким образом ему следует держать себя на первых порах с детьми. Усилие, к которому приуждал себя Жюльен, заставило его опять сильно побледнеть; он сказал каким-то неестественным тоном:

— Сударыня, я никогда не буду бить ваших детей, клянусь вам перед Богом.

И, произнося эти слова, он осмелился взять руку г-жи де Реналь и поднес ее к губам. Ее очень удивил этот жест, и только потом уж, подумав, она возмутилась. Было очень жарко, и ее обнаженная рука, прикрытая только шалью, открылась чуть ли не до плеча, когда Жюльен поднес ее к своим губам. Через несколько секунд г-жа де Реналь уже стала упрекать себя за то, что не возмутилась сразу.

Господин де Реналь, услышав голоса в передней, вышел из своего кабинета и обратился к Жюльену с тем величественным и отеческим видом, с каким он совершал бракосочетания в мэрии.



[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:



[Mifbooks](#)



[Mifbooks](#)



[Mifbooks](#)